Мертвая зыбь

Автор:
Ольга Денисова

Мертвая зыбь

Ольга Леонардовна Денисова

Материки ушли под воду, растаял Ледовитый океан, люди выжили лишь на островках далеко за полярным кругом и назвали себя гипербореями. Их жизнь тяжела и опасна: в их острова бьют цунами, в воздухе мало кислорода, у них умирают дети… Но за двести лет выживания люди научились объединяться, держаться друг за друга, жертвовать собой ради других. Февраль, месяц штормов, шквалов и снежных гроз. Спасательный катер тонет, не дойдя до цели – островка в архипелаге Шпицберген. В живых чудом остается только медэксперт экспедиции. Он один на холодном острове и надеется найти там людей, но находит только мертвецов, тайну смерти которых надо непременно узнать…

Мы забыли, бранясь и пируя,

Для чего мы на землю попали…

Ауне проснулась от поцелуя Олафа – и испугалась. Испугалась повторения того, что было ночью. Олаф прильнул к ее спине, провел губами по волосам, шершавыми пальцами сжал измученную, ноющую грудь. Нет, не сильно – нежно, хорошо. Дохнул в ухо неуверенным, дрогнувшим выдохом…

Оранжевое солнце, будто раздвинув мягкие губы полосатых туч на горизонте, пронзило пространство плотным пучком лучей, осветило замершую над брачным ложем статую Планеты. Долгий полярный день шел к концу, Ледовитый океан тяжело бил волнами в высокий берег, бирюзовое небо раскинулось над головой.

Тело замирало от страха перед новой болью, но Ауне повернула лицо к Олафу, приподнявшемуся на локте, и улыбнулась – наверное, получилось жалко, вымученно. Милый Олаф… Его взгляд, полный вожделения, был и умоляющим, и испуганным, и решительным – он не смел требовать, и не умел вызвать ответное желание, и сдержать своего не хотел. Он так долго ждал этого дня…

Ауне еле заметно кивнула, и счастье вытеснило страх перед болью.

– Оле, а если он умрет?

– Кто? – сонно спросил он.

– Наш малыш.

– Вероятность шестьдесят три с половиной процента, – пробормотал Олаф. – В нашем поколении.

Он учился на врача и был очень умным, не только отчаянным и сильным. Во всяком случае, Ауне так считала.

– Тебе его не жалко?

Олаф не ответил – вздохнул снисходительно.

Она еще не знала, смогла ли зачать, но мысль о смерти ребенка кольнула остро, до слез. Раньше это ее не трогало, она знала, что большинство ее детей умрет сразу после рождения, останутся те, кого выберет Планета, кто будет дышать воздухом сам. У ее матери в живых осталось трое детей из одиннадцати рожденных, у матери Олафа – двое из восьми.

В допотопные времена вулканы не выбрасывали в небо столько пепла и углекислоты и все дети рождались способными дышать – Ауне с тоской подумала о том, что до потопа ее нерожденный малыш выжил бы непременно. И устыдилась своих мыслей. Они гипербореи, потомки тех, кого выбрала сама Планета – гневная Планета, – кого она оставила в живых, когда суша опрокинулась в океаны: не сожгла лавой, не разбила чудовищными волнами, не

отравила углекислотой, не засыпала пеплом…

Ауне посмотрела в лицо статуе: не только гневная и немилосердная, но и дающая, родящая…

– Пожалуйста, выбери нашего малыша, – шепнула Ауне одними губами. – Пожалуйста!

Задремавший было Олаф прыснул:

– Молишься Планете?

Ауне смутилась, а он высвободил руку из-под ее плеча, легко поднялся на ноги и развернул широкие плечи – должно быть, ему надоело валяться.

– Мы – гипербореи. Мы не должны просить.

– Почему? – спросила Ауне, испугавшись вдруг за него, за его дерзость и самоуверенность.

– Потому что Планета помогает сильным.

– Но ведь это от нас не зависит…

– Это не зависит от нас сегодня, сию минуту. А через триста лет дети не будут умирать. А может, даже раньше.

Благословенна теплая и солнечная гиперборейская весна, и благословенна Восточная Гиперборея, страна счастливых и сильных людей, что, подобно своим легендарным предшественникам, живут в труде и веселье, не зная раздоров и смуты.

Ауне казалось, что родила она легко, хотя солнце обошло по небу целый круг с той минуты, как она ощутила первую схватку.

Ребенка сразу унесли, не позволив ей и взглянуть на него, – она слышала только, что родился мальчик. И Ауне хотела бежать на берег океана, туда, где Планета сейчас решит, останется ли ее сын в живых. Пусть, пусть это обязанность отца. Она должна быть рядом с младенцем, помочь ему – хотя бы своим присутствием… Но врач долго накладывал швы, слишком долго… Наверное, нарочно.

Красное полуночное солнце замерло над океаном, у самой его кромки, разрисовало небо в сумасшедшие цвета, от ясной зелени до зловещего густого багрянца. Ауне нетвердо поднялась на ноги и, ступая узко и осторожно, направилась к берегу.

Она никого не встретила. И теперь все стало ясно, хотя бы потому, что не слышно было ни приветственных радостных криков, ни детского плача. Хотя бы потому, что ей не принесли младенца. Все было ясно, и тешиться надеждой Ауне не стала. Она всю зиму представляла себе этот страшный миг, просыпалась в холодном поту, прижимала к животу руки, гладила и ласкала неродившееся дитя, ужасаясь тому, что может его потерять. И теперь, когда это произошло, ощутила не острую боль, а тяжесть, придавившую ее к земле. Наверное, виной тому усталость?

Тишина и безветрие, полночное солнце и неподвижная Планета с гордо поднятой головой. Ауне посмотрела ей в лицо без осуждения и не сразу заметила сжавшегося, скорчившегося у ног статуи Олафа – маленького, уязвимого рядом с ее могуществом.

У него тряслись плечи. Ауне никогда не думала, что Олаф может плакать. Она опустилась возле него на колени и провела рукой по его спине – он всхлипнул и вскинул мокрое от слез лицо с опухшими губами.

– Это был мой сын… – выговорил он полушепотом.

Ауне не смогла улыбнуться, только погладила его снова – рука была деревянной, негнущейся, дрожащей – и сказала ломким, как сухая трава, голосом:

– У нас будут еще дети. Еще много детей.

В море соли и так до черта,

Морю не надо слез.

Ледяная вода оглушила, выбила из груди воздух, сжала горло спазмом – и кромешной тьмой сомкнулась над теменем. Мелькнула в голове трезвая, спокойная мысль: это смерть, довольно быстрая и не такая мучительная, какой стала бы со спасательным жилетом. Но Олаф не был бы гипербореем, если бы сдался сразу: рванулся вверх, поборол спазм, вдохнул судорожно мокрого соленого ветра – ледяного шквального ветра. Волна тяжело ударила в лицо на следующем вдохе – Олаф хлебнул, закашлялся, вдохнул снова. Молния осветила уходивший под воду нос катера в центре воронки…

Холод еще не стал болью, но жег пронзительно, и паника билась в голове так же, как со всех сторон беспорядочно бились волны шквала. Ветер рвал пену с воды и обдирал лицо, не давал дышать, к босым ногам подбиралась судорога, холодом сдавливало грудь. Олаф кашлял, отплевывался, фыркал и задирал голову, проваливался между волн, поплавком взлетал над океаном и снова оказывался с головой накрытым ледяной волной.

Молния ударила в воду почти одновременно с оглушительным треском грома, высветила в пелене тумана черные скалы Гагачьего острова по правую руку. Метров триста. Сколько у него времени? Минут пятнадцать. Может быть, двадцать, но не больше. Скалы. Даже если доплыть до берега, на него все равно не выбраться – разобьет. С северной стороны берег пологий – вытертый тяжелыми животами Больших волн Ледовитого океана. А может, и нет… Не успеть. Обогнуть остров – это километры.

Олаф поплыл к острову, осознавая бесполезность попыток спастись. Он не был бы гипербореем, если бы перестал бороться за жизнь, – оставить надежду вовсе не означает сдаться. Планета помогает сильным, тем, кто не рассчитывает на ее помощь.

Правую ступню вывернуло судорогой, но судорога пугает только тех, кто плохо плавает. Боль выламывала пальцы на руках, лицо тянуло едкой, соленой коркой, но самое страшное, с чем невозможно было бороться, – Олаф задыхался. Дело не в ветре, забивавшем глотку соленой пеной, не в волнах, – это холод. Он ощущал, с каждой секундой все отчетливей, что слабеет. Тело не слушается его, движения даются с трудом.

Молнии били и били по воде, ветер превращал мокрый грозовой снег в пыль, в мутную пелену со всех сторон, и вдруг в этой мутной пелене на гребне волны блеснул серп огромного черного плавника. Орка… С раннего детства Олаф знал – да, это прирученные киты. Да, они умны и послушны. Но нет ничего опасней, чем оказаться в воде рядом с косаткой – утопит не со зла, а только от неуклюжести и неимоверной своей силы. А если это дикая орка? Нет, они не едят людей, это всем известно, но…

Дыхало выбросило воздух совсем близко, а потом огромное и теплое – чуть теплее воды – тело оказалось прямо под Олафом, скользнуло боком, коснулось живота и груди, и Олаф инстинктивно схватился рукой за толстый плавник. В темноте он не разглядел пятна под плавником, но почти не сомневался – это одна из трех косаток, которые шли с катером.

Шквал налетел неожиданно, у самой цели пути, – пришлось поменять курс, не подходить близко к скалам. Олаф не подумал тепло одеться, когда капитан отдал команду задраиваться, – на пути к Гагачьему острову это был второй по счету шквал, первый застал их в открытом море. Снежные грозы в феврале – явление нередкое. Олаф не боялся морской болезни, смущал его только погашенный свет и невозможность спать при такой качке. Остальные, чтобы не скучать, собрались в кают-компании, Олаф же не любил шумных посиделок с бессмысленными разговорами. А потом с треском и грохотом лопнуло днище катера, брошенного волной на риф. Это было похоже на взрыв.

Катер затонул через минуту, и за эту минуту Олаф успел открыть задраенный люк и подняться на палубу. Он один успел подняться на палубу. Возможно, капитан и рулевой сумели выбраться из рубки под водой, возможно, кто-то из команды тоже безнадежно боролся теперь с волнами. Но те, кто был в кают-компании…

Таллофитовая рубаха с рукавами, вязаный свитер, кальсоны и трикотажные с начесом штаны, пара тонких носков – этого мало даже на суше… Рука не слушалась, соскальзывала с гладкого плавника, Олаф ухватился за него и другой рукой – не думая о том, что же нужно косатке и насколько она опасна. И тогда огромное тело под ним колыхнулось: фантастическая силища перекатилась под толстой кожей от головы до хвоста, в лицо ударила распоротая плавником волна – орка двинулась к острову. Приученная к ярму, она старалась идти по поверхности воды, но ей мешали беспорядочные волны, бьющие то с одной, то с другой стороны. Шквал тем и опасней шторма.

Олаф всеми силами держался за плавник, сцепив пальцы замком, вдыхал – иногда удачно, иногда не очень – и даже пробовал что-то сказать по привычке. Глупые слова, которые говорят тягловым косаткам: молодец, девочка, хорошая девочка… Он подозревал, что она «высадит» его перед скалами, но орка была умней, чем ему представлялось, и пошла в обход острова, к пологому северному берегу. Что для кита три-четыре километра? Наверное, она могла плыть быстрей, но старалась быть осторожной. Встречные волны хлестали по лицу тяжелыми оплеухами, Олаф перестал ощущать холод так остро – то ли привык, то ли помогло тепло китового тела. Даже дышать стало немного легче. Нет, он не верил, что выживет, напротив – думал, что скорей всего умрет. Эта мысль, если принять ее всерьез, вбрасывала в кровь больше адреналина, чем глупая надежда на спасение.

Если орку выбросит волной на берег, она погибнет. Потому что Олафу не хватит сил столкнуть ее в океан. Он сам выпустил плавник из рук, когда они подошли к полосе прибоя, хлопнул ее по спине, крикнул сквозь грохот волн: «Гуляй, девочка, гуляй». И она прочирикала в ответ что-то оптимистичное, радостное – они всегда радовались, если их хвалили. Нет, не за рыбу косатки служили людям… Им нравилось быть с людьми.

Планета помогает сильным, тем, кто борется до конца, тем, кто не просит помощи.

Прибой, ворочавший береговые камни, вышвырнул Олафа на сушу пинком: поколотил, протащил по наждаку гальки и оставил лежать ничком, цепляясь онемевшими пальцами за вожделенный берег.

Ветер звенел на одной ноте, мокрый, соленый ветер… Он обжигал сильней ледяной воды и был холоднее. Олаф знал, что вода страшней и убивает быстрее,

отполз с кромки прибоя; но и ветер убьет его за час-другой, а если он будет валяться на камнях – то гораздо раньше. Снять и отжать одежду? Даже в ледяной воде тело немного ее согревает. Раздеться – потерять драгоценные крупицы тепла. Нет, лучше отжать, как бы ни было страшно оказаться голым на ветру.

Где-то там, на островке, брезжило спасение – сборщики штормовых выбросов, семеро студентов и инструктор: времянка, ветряк, и огонь, и спирт, и горячий чай, и теплая одежда. Но главное – люди. Катер шел к ним.

Лучше всего замерзших отогревают человеческие тела.

Не хотелось думать о катере, о сидевших в кают-компании, о капитане и рулевом в рубке… С ними шли три орки, и оставалась надежда, что спасся кто-то еще, но это была призрачная надежда. Олаф считал себя скептиком, многие называли его пессимистом, на самом же деле с некоторых пор он предпочитал не питать напрасных надежд.

Ноги не держали, были словно ватные. От холода кровь приливает к внутренним органам… Знание механизма умирания от гипотермии нисколько от гипотермии не помогало. Правую ступню то скручивало судорогой, то отпускало, чтобы снова скрутить от неосторожного движения. Олаф плохо ходил по гальке – давно жил на Большом Рассветном, где берег был песчаным, отвык. А ведь в детстве бегал по камушкам и не замечал… Скалы приближались слишком медленно, но надежда на них могла и не оправдаться – ну как они неприступны? В одних носках вскарабкаться на вертикальную стенку трудновато…

Планета помогает сильным. Олафа бил озноб (температура тела выше тридцати двух градусов, но ниже тридцати пяти), когда он добрался до подножья скал. Нет, они не были отвесными: цунами, бьющие в берег, рушили их постепенно, стирали шершавыми языками, крошили животами – и наверх вел довольно пологий склон. Планета помогает сильным. Первое, что нужно сделать, оказавшись на острове, – подняться повыше. Потому что Большая волна появляется тогда, когда ее не ждут. Но Олаф не долго думал о цунами…

Он вырос в маленькой общине Сампа, одной из четырех на острове Озерном, которую сорок лет железной рукой вел за собой старый едкий Матти. Отец Олафа был человеком мягким, что бывает свойственно людям большой силы и

роста, нетребовательным и снисходительным к обоим сыновьям, и если бы не жесткие уроки Матти, Олаф, пожалуй, вырос бы совсем другим. Матти любил повторять, что мягкой как воск должна быть женщина, а в мужчине главное стержень, на который она сможет опереться. Он смеялся над болью, слабостью и трусостью, научил не жаловаться и преодолевать страх. Это он твердил, что Планета помогает только сильным.

Воистину, Озерный был одним из самых удивительных уголков Восточной Гипербореи, которые Планета подарила своим избранникам! Должно быть, в столь высоких широтах не нашлось бы более теплого и уютного местечка. Цунами разбивались еще о землю Франца Иосифа, добегали до Ледниковых гор, но на берега Озерного приходили слабыми и невысокими, иногда ниже ветровых волн. Просто выливались на берег дальше кромки прибоя, и только-то. Первую в своей жизни настоящую Большую волну Олаф увидел в десять лет, когда поехал с отцом в Сухой Нос.

Чем выше Олаф поднимался, тем сильней и пронзительней становился ветер. Если за час не найти лагерь – это смерть. Даже укрывшись в скалах, он все равно замерзнет. Он уже почти замерз, он чувствует судороги диафрагмы, провалы в сердечном ритме, он слабеет и скоро не сможет идти. Пропал озноб (температура тела ниже тридцати двух градусов?), мысли путались, в голове появлялись странно оптимистичные идеи – отдохнуть немного, подремать, свернувшись клубком. Олаф едва не забыл, зачем поднимается на остров. По белой лестнице с широкими площадками и лавочками, под разросшимися вдоль нее кустами можжевельника – к институту океанографии. Большой Рассветный, так похожий на древнюю Элладу, особенно солнечным летним днем…

Олафа качнуло, высокая скала по правую руку задела плечо – будто Планета толкнула его, надеясь разбудить. Он тряхнул головой и посильней ударил кулаком по камню – силы было не много, но резкая боль отрезвила, вернула ясные мысли. Гроза уходила, шквал летел дальше, а ветер с моря не стихал.

Планета помогает сильным. Как на всех птичьих островах, побережье выстилал пух и помет. Гагачий пух, пусть свалявшийся и сырой… Олаф натолкал немного под рубаху – прикрыл от холода хотя бы грудь и спину, – а из гнезда соорудил что-то вроде шапки. Но, понятно, без костра, даже в хорошем укрытии, одним пухом не согреться. Он тронул тесемку на шее – зимней ночью амулет из маленькой двояковыпуклой линзы только символизировал огонь, но разжечь огня не мог. И хотя полярная ночь на этой широте закончилась дней десять

назад, до рассвета все равно не дотянуть, и не факт, что он будет ясным.

Остров небольшой, мест для лагеря не так много. И пока гроза не ушла за горизонт, надо попытать счастья…

Олаф долго взбирался на высокий гладкий валун, ободрал ногти, расцарапал ладони (успокоив себя тем, что на холоде это полезно, заставляет кровь бежать быстрее). Ветряк. Ветряк видно издали!

Никакого ветряка он не увидел, но примерно в полукилометре последние молнии высветили в темноте красно-оранжевый сполох – гиперборейский флаг цвета огня, нарочно выкрашенный так, чтобы его было издали видно в любую погоду: от яркого желтого до сочного красного. Надежда – вещь чрезвычайно вредная с точки зрения Олафа, а иногда и опасная – на этот раз прибавила сил. Сердце забилось быстрей, толкнуло остывающую кровь по артериям, дыхание стало чаще… Там люди. Он не один.

Вокруг появились деревца, искореженные холодными ветрами, острые камни сменились жестким мхом – он не был мертвым, этот островок…

Олафа шатало, судорогой скручивало не только ноги, но и косые мышцы живота, как-то слишком болезненно, изматывающе. Гагачий пух (особенно прикрывший затылок) помог продержаться еще несколько минут, но и эти минуты были на исходе. Он сосредоточился на том, чтобы не потерять направление, и плохо смотрел под ноги. Теперь он видел огненный флаг впереди, не поднимаясь на возвышения. Глаза привыкли к темноте – до лагеря оставалось не больше двух сотен шагов, когда Олаф споткнулся и не удержал равновесия. Задержка была досадной и глупой, падение неудачным. Стоило посматривать под ноги хоть иногда. Он думал, что споткнулся о кочку или деревце, распластавшееся по камню, хотя…

Олаф отпрянул и еще секунду продолжал сомневаться в увиденном.

Вот она, страшная расплата за маленькую надежду… Он споткнулся о ноги мертвеца – окоченевшего и полураздетого. И, не будь тело окоченевшим, Олаф решил бы, что кто-то с катера не дошел нескольких шагов до спасения, но… Даже в темноте довольно было пощупать тело, чтобы определить: смерть наступила когда угодно, только не в ближайшие полчаса. Кому, как не

медэксперту отдела БЖ, в этом разбираться…

Связь с группой студентов прервалась пять дней назад. Скорей всего, вышла из строя рация или генератор ветряка, но жесткие инструкции отдела БЖ предписывали выслать спасательный катер, если связь не восстановится в течение сорока восьми часов. Олаф когда-то тоже ездил в такие экспедиции – студентов после зимних каникул часто отправляли на северные острова. Эта группа собирала штормовые выбросы, в основном, конечно, водоросли; студентов-медиков, как ребят с нервами покрепче, посылали бить тюленя, и им все завидовали (напрасно, кстати: охота на бельков – занятие не из приятных). Олаф хорошо помнил эти поездки, в юности две недели на необитаемом острове представлялись романтическим приключением, чем-то вроде детской игры в первых гипербореев, переживших потоп, в которой все по-настоящему, по большому счету – и матери вечером не позовут ужинать и спать.

Мертвое тело в двухстах шагах от времянки – не игра… Инструкция отдела БЖ перестала казаться ненужной перестраховкой: значит, не зря на Гагачий остров шел спасательный катер с десятком взрослых опытных мужчин на борту, не зря в состав группы спасателей входили следователь и медэксперт (он же врач, но сначала все-таки медэксперт). Вовсе не пожурить студентов им предстояло, не посмеяться над несданным зачетом…

Если живые оставили мертвого валяться в прямой видимости от лагеря, значит живым не до мертвых, значит им самим угрожает смертельная опасность, они сами нуждаются в помощи.

Олаф едва не забыл, что мало отличается от этого мертвеца, что тоже в смертельной опасности и запросто останется лежать на камнях не в двухстах, а в пятидесяти, скажем, шагах от времянки, – но он врач, он взрослый и сильный человек, он прибыл сюда спасать, а не спасаться. Может быть, именно эта мысль, снова подтолкнувшая остывающую кровь, позволила ему пройти последние двести шагов.

Подход к времянке перегородила мачта упавшего ветряка. Ветер трепал расстегнутые створки входа, катал волну по опавшей уроспоровой крыше над просевшими стенами, иногда взвивал огненный флаг, закрепленный над

тамбуром, и понятно было, что внутри никого нет. Никого… из живых…

Паника накатила внезапно, именно паника, детский ночной кошмар, то, чего, наверное, боится каждый гиперборей. Это вбили Олафу в мозги до того, как он научился говорить: человек не может один. Не может выжить – лишь недолго продержаться. Ощущение одиночества было сродни приступу клаустрофобии, иррациональный страх давил и требовал немедленного действия: бежать, кричать, звать на помощь… Ужас одиночества – как снежный ком: сколько ни кричи, никто не услышит, а потому еще сильней хочется кричать. Олаф проглотил накатившую панику вместе с комом в горле – это холод снова туманит мозги. Планета, конечно, помогает сильным – тем, кто не рассчитывает на ее помощь.

Влезать внутрь пришлось на четвереньках – у входа крыша поднималась над полом едва ли больше, чем на метр, а ближе к центру и вовсе лежала на полу. Это была отличная надувная времянка, способная надежно защитить от холода, ветра и дождя – если работает генератор, подкачивая воздух в стены. С печкой внутри, пол из пемзовых блоков. Типовая шестиместная, где восемь человек размещались вполне свободно, а в широкий холодный тамбур вошли не только вещи и продукты, но и аккумуляторы, и заготовленные дрова. Там Олаф и наткнулся на фонарик – фонарик работал. Включить аккумулятор при недействующем генераторе он поостерегся.

Главное – не надеяться. Надежда оборачивается безоговорочной верой в лучшее и расслабляет. Зачем шевелиться, если веришь в лучшее?

Створки опустившейся внутренней двери оказались застегнутыми изнутри, и окоченевшие пальцы с трудом ковыряли пуговицу за пуговицей. Олаф, понятно, не боялся мертвецов, но… Но знал о них гораздо больше обычного человека… В любом случае, не хотелось бы ему найти внутри семь окоченевших тел.

Он подпер крышу багром, лежавшим в тамбуре, с трудом встал на колени и посветил вокруг. Времянка была пуста, снова в глубине души забрезжила коварная надежда: может, ребята живы? Может, они просто ушли с этого места по какой-то непонятной причине? Но тогда, вероятно, оставаться здесь опасно… Выбор был небогат: или вскорости умереть от холода, или рискнуть, оставшись внутри. Мысли в голове ворочались медленно и странно: с чего он вообще взял, что они мертвы? Профессиональная деформация?

Вещи – слишком много вещей – пребывали в беспорядке. Верней, в каком-то странном беспорядочном порядке. Сапоги рядком стояли у входа, на них грудой лежали свитера, штаны, штормовки, телогрейки, носки, варежки. Сверху груду накрывали куртки. Куртки… Понятно, что каждый имел с собой смену теплой одежды, может, и две пары обуви. Но вряд ли по две тюленевые куртки.

А как они вышли наружу, если вход закрыт изнутри? Вопрос показался слишком сложным, чтобы искать на него ответ.

Пока не найдены мертвые тела, Олаф был обязан предполагать, что они живы, и действовать так, будто они живы. Но предполагать и действовать – совсем не то, что надеяться. Мысль снова показалась странной: о действиях в его положении речь пока не шла. Верней, речь шла только об одном действии – согреться.

На толстых матрасах лежали расстеленные спальники, но сбились местами, будто о них спотыкались и путались в них ногами. Олаф разглядел даже отпечаток грязного сапога. По матрасам обычно не ходят в сапогах…

В печурке нашлись дрова, ее вот-вот должны были растопить, но почему-то не растопили – в положении Олафа эта маленькая деталь стала, наверное, решающим фактором. Двигаться, главное – двигаться, не расслабляться в шаге от спасения. А расслабиться очень хотелось, голова соображала плохо, медленно, тело не слушалось и будто налилось свинцом. Он видел множество людей, погибших в шаге от спасения.

Ветер обеспечил достаточный поддув в раструб нижней трубы, качать мехи не требовалось. Спички тоже нашлись без труда, и первое, что Олаф сделал, – разжег огонь, а уже потом переоделся, потом нашел аптечку, фляги со спиртом и канистры с водой, потом переставил подпиравший крышу багор и соорудил вокруг печки шатер из спальников, – шестиместную времянку не так просто прогреть и до комнатной температуры, а до тридцати пяти – сорока градусов вовсе невозможно. Он действовал механически, будто по инструкции, не рассуждая, не теряя времени – но все равно еле-еле… Думал, что от гипотермии часто умирают именно при согревании. И далеко не всегда неправильном.

Мысль о том, что замерзшего лучше всего отогревать человеческими телами, на этот раз показалась жутковатой и потребовала немедленно уточнения: живыми человеческими телами.

Вернувшийся озноб прошел только через несколько часов; не сразу, но отпустило закоченевшие руки и ноги – боль выматывала, вытягивала жилы, сбивала и без того неуверенное дыхание и кончилась лишь тогда, когда Олаф совершенно уверился, что она не пройдет вообще. Взамен зажгло многочисленные ссадины и царапины, заныли ушибы, заболели мышцы, особенно на ногах. Есть не хотелось, но поесть нужно было обязательно – восстановить силы. Двигаться не хотелось тоже, и тем более не хотелось покидать теплый шатер.

Консервы и крупу Олаф без труда нашел в тамбуре и лишь тогда вспомнил о рации. Пошарил фонариком по времянке – рации нигде не было. Может быть, покидая лагерь, ребята взяли ее с собой? Но почему тогда оставили теплую одежду? Вместо рации обнаружилась кожаная папка с документами.

После выхода в холодный тамбур снова начался озноб, Олаф подбросил в печурку немного дров, поставил греться банку консервов с китовым мясом и кружку воды. Он чувствовал себя донельзя усталым, чтобы варить крупу.

От еды его развезло, потянуло в сон, и, пожалуй, только теперь можно было не опасаться смерти от холода – шатер сохранит тепло в течение нескольких часов. Если отправиться на поиски ребят сейчас, он, во-первых, ничего не найдет (если вообще встанет), лишь напрасно потратит силы. Во-вторых, ничем ребятам не поможет, зато станет для них лишней обузой. Не стоит суетиться ради того, чтобы успокоить собственную совесть.

Олаф улегся поудобней, завернулся в спальник, погасил фонарик и приоткрыл печную дверку – от догоравших углей в обветренное лицо хлынул восхитительный жар, шатер наполнился смутным оранжевым светом. Блаженно закружилась голова, Олаф зевнул и прикрыл глаза. И тут же услышал негромкую возню у входа во времянку – кто-то расстегивал пуговицы, чтобы войти внутрь.

И, наверное, правильно было бы обрадоваться, помочь – снаружи пуговицы расстегивать неудобно – или хотя бы выбраться из шатра навстречу пришедшему. Но тело стало вдруг ватным, дыхание замерло и сделалось тихим, поверхностным, зато сердце стучало в уши оглушительно, не давая толком прислушаться…

Звякнула посуда, сложенная в мешке у выхода в тамбур. Там нельзя было выпрямиться в полный рост, и кто-то пробирался к шатру на четвереньках. Ни одному гиперборею не придет в голову бояться человека, и Олаф вряд ли мог вразумительно объяснить самому себе, почему не в силах шевельнуться, почему со лба на висок медленно сползает капля пота, и ее никак не вытереть…

Полог шатра приоткрылся, дохнуло холодом, и чуть ярче загорелись угли – Олаф совсем перестал дышать, лишь смотрел широко раскрытыми глазами, как в шатер неуклюже пролезает темноволосый паренек в шерстяной рубашке и кальсонах.

Он сел на пол неподалеку от печной дверки, в ногах Олафа, зябко обхватил руками плечи и пробормотал:

– Как там холодно…

В словах этих было только отчаянье – острое, щенячье… Оно оглушило сильней, чем страх минуту назад: Олаф знал, как там холодно.

Угольки в печке потрескивали потихоньку, давая все меньше света, но бледное лицо в полутьме все равно было видно отчетливо: в лобной области слева мелкие ссадины бурого цвета, осаднение кожи неопределенной формы на левой скуле… м-м-м… два с половиной на полтора сантиметра. Отморожение левого уха третьей-четвертой степени. Аналогично концевые фаланги второго и третьего пальцев правой руки темно-бурого цвета. Пястно-фалангиальные сочленения на правой руке покрыты ссадинами буро-лилового цвета пергаментной плотности. Подрался? Да нет же, повреждения больше похожи на агональные. Впрочем, может, и не в агонии, но уже в состоянии гипотермии.

Олаф осекся, холодея. Он слышал, что в допотопные времена люди его профессии быстро спивались, но для себя считал это чем-то… унизительным… Пить от страха – что может быть глупей? А тут подумал о фляге со спиртом с вожделением, хотя спирт при гипотермии вовсе не полезен.

Угли совсем погасли, темнота становилась кромешной… Ветер свистел в незакрытой печной трубе, а где-то далеко, слышный даже сквозь полог из пуховых спальников, грохотал прибой: потревоженный грозой Ледовитый океан не спешил успокоиться.

Олаф лежал без сна и без движения – или ему казалось, что без сна?

Он проснулся от холода и увидел сквозь щель в пологе смутный свет.

Чем он думал, когда улегся спать, не закрыв вьюшку? Боялся угореть? Теперь драгоценное тепло ушло в небо…

Он проспал рассвет! Световой день здесь не более шести часов, и сколько из них прошло – неизвестно!

Рассвет разгоняет ночные страхи, мысли становятся трезвыми, а иногда – слишком трезвыми. Понятно, что согревание после такой теплопотери может вызвать не только кошмарные сны, но и галлюцинации…

Вылезать из-под спальника не просто не хотелось – от воспоминания о холоде сжималось все внутри, даже дыхание перехватывало, как будто снова предстояло нырнуть в ледяную воду. Мысль о скоротечности светового дня подтолкнула наружу и сняла дыхательный спазм. На движение мышцы отозвались болью – крепатура, ничего удивительного после нарушения периферического кровообращения, она пройдет, если шевелиться.

Во времянке было гораздо светлей, чем под пологом: надувные уроспоровые стены и крыша пропускали свет. Олаф поискал куртку и сапоги себе по размеру – некогда завтракать, поесть можно потом, когда стемнеет. На этот раз есть хотелось сильно, и он попил воды.

Пришлось снять меховую безрукавку – куртка на нее хоть и налезала, но мешала двигаться (в кармане обнаружился компас). Ну и в теплые сапоги двух пар носков – таллофитовых и шерстяных – было вполне достаточно. Это ночью, с перепугу, Олаф натянул на себя все, что только подвернулось под руку. На всякий случай он надел еще грубые уроспоровые штаны, хорошо защищавшие от ветра, направился к выходу и остолбенел: пуговицы на внутренних створках двери были расстегнуты. Нет, не может быть… Он хорошо помнил, как долго возился с ними. Или это случилось в первый раз, а после вылазки в тамбур за консервами он про пуговицы забыл?

Времянка стояла под прикрытием валунов, в самой высокой точке северного берега. Островок, немного вытянутый с севера на юг, имел форму чаши. Или лодки с задранным носом: лесистую впадину с четырех сторон окружали гребни невысоких гор. Покатые внутри, снаружи они скалами обрывались в море, только северный берег шел к воде полого. От лагеря на юг и юго-запад вел гладкий склон, устланный мхом и водяникой, с редкими карликовыми деревцами, размазанными по каменистой земле; на горизонте вздымались обледенелые скалы южного берега, а на дне чаши лежал березовый лес, удивительно белый в этот час, с заиндевевшими ветвями: морозец был легкий, градуса три, но при изрядной влажности и на ветру – ощутимый.

Несмотря на прикрытие с востока, лагерь насквозь продувался мокрым северным ветром. Зачем они разбили лагерь на высоте? Чтобы обеспечить бесперебойную работу ветряка? То-то он не устоял… Чтобы с любой точки острова видеть лагерь? А может, попросту на удобной горизонтальной площадке? Должно быть, расположение лагеря выбрали из-за близости к пологому берегу, где и сейчас работы для сборщиков штормовых выбросов было хоть отбавляй. Растительность появлялась на высоте примерно тридцати пяти метров над уровнем моря. Олаф прикинул, какой рельеф может быть на этом шельфе: да, примерно так, тридцать-тридцать пять, выше Большой волне не подняться.

Он оставил выбор места для лагеря на совести инструктора.

У задней стены времянки стояла бочка с морской водой – значит, пресной на острове не было, умывались соленой. К бочке крепился рукомойник и мыльница, рядом валялось ведро. Ее не успели набрать полностью, хорошо если принесли десять ведер. И, наверное, где-то должно было быть второе ведро – ходить за водой не близко…

Океан лениво катил на берег высокие круглые волны мертвой зыби, небо затянула тонкая серая дымка, сквозь которую кое-где пробивалась ясная весенняя бирюза. Олаф глянул на компас: диск солнца в туманной пелене отклонялся от полудня на двадцать два градуса – в сторону востока. Он проспал лишних часа полтора (а точней, часа три, если вспомнить о пропущенном завтраке), местное время – половина одиннадцатого утра.

Главное – не суетиться и не пытаться сделать то, что заведомо не даст результата.

Перво-наперво Олаф осмотрел ветряк и сразу обнаружил рацию: тяжелая лопасть прорвала стенку тамбура и сплющила тонкий металлический корпус передатчика. Олаф не очень хорошо разбирался в электронике, но все же сунулся внутрь – понял, что рацию без полного набора радиодеталей не починил бы и мастер… И незачем было надеяться…

На его счастье, мачта ветряка оставалась целой – ветряк просто опрокинулся. То ли недостаточно хорошо укрепили основание, то ли заклинило горизонтальный поворотный механизм и мачта не выдержала сильного порыва ветра. Лопасть, убившая рацию, погнулась при падении, но это не страшно. Страшно, если от удара из строя вышел генератор.

Поднять ветряк в одиночку – дело непростое, особенно если деревянные мышцы ноют от каждого движения, но все равно гораздо быстрей, чем в одиночку прочесать остров в поисках пострадавших. При шестичасовом без малого световом дне электричество лишним не будет. Помощь придет самое раннее через четверо суток, а учитывая февральскую погоду – гораздо позже. Гагачий лежит в южной оконечности архипелага Эдж, до Большого Рассветного – полтыщи миль, и вряд ли ОБЖ задействует пограничников для спасения столь малочисленной группы, хотя их база находится гораздо ближе и скоростью военные катера раза в два превосходят суденышки спасателей.

Генератор заработал за час до заката, начал потихоньку поднимать опавшие стены времянки. Нашлась и лампа в разбитый прожектор. Теперь ветряк будет видно и днем и ночью – если на острове есть живые, увидев его, они догадаются или вернуться, или подать сигнал. Разбитый прожектор Олаф поднял под самые лопасти, а обнаруженным запасным осветил площадку перед времянкой. Поправил короткий флагшток над входом – чтобы огненный флаг развернулся под ветром на всю ширину. В случае чего была возможность натянуть тент: возле времянки лежали стойки, а под аккумулятором – сложенное уроспоровое полотно.

Вряд ли за один световой день можно было сделать больше… В темноте ничего и никого не найти. За оставшийся час надо нарубить дров и поднабрать камней,

обложить ими печку, чтобы тепло уходило не так быстро.

Олаф осмотрелся и вздохнул. Звенящий ветер, шорох лопастей ветряка, шум прибоя и печальная песня орки в океане. Он пригляделся: показалось, что на волне мелькнул черный серп плавника. Впрочем, ничего удивительного не было в том, что косатки, шедшие с катером, остались у острова. Они бы, конечно, в океане не заблудились, дорогу на Большой Рассветный нашли и от голода по пути не умерли, но… Олафу доводилось видеть, как перед Большой волной киты без команды уводят в открытый океан плавучие острова, а потом возвращают их назад. Они чувствуют ответственность…

Когда стены приподнялись достаточно, стало ясно, почему времянка была закрыта изнутри: ребята покидали ее через пожарный выход. В типовой времянке два пожарных выхода, оба ближе к торцу, дальнему от двери, напротив друг друга. Здесь один вел на север, другой на юг. Воспользовались южным – на его месте зиял пустой прямоугольный проем, и по времянке гулял ветер. Пожарный выход открыть нетрудно, довольно хорошенько толкнуть плечом; закрывается такая «дверь» тоже без особенных хлопот, но выбитой панели не было – должно быть, ее унесло ветром. Пришлось повозиться, заложить проем матрасами…

Свист орки рвал душу – будто плакальщица, она скорбела (заставляла скорбеть) о тех, кто не доплыл до этого берега. Не стоило о них думать – приступ паники одиночества накатил снова, только не бежать и кричать хотелось, а сесть и скулить вместе с косаткой. На Большом Рассветном, да и в экспедициях (пожалуй, в экспедициях особенно) Олафу часто хотелось, чтобы его оставили в покое. Он любил быть один и не скучал наедине с собой. Терпеть не мог компаний, вечеринок, посиделок. Но «побыть одному» и остаться в одиночестве посреди океана – это разные вещи. Пропадало чувство защищенности, появлялось ощущение уязвимости, наготы, малости своей и слабости…

Да, правильней было бы нарубить дров и набрать камней, но Олаф вовсе не о том думал весь день (не желая отдавать себе отчет, о чем думает). Да, инструкции отдела БЖ – это двухсотлетний опыт выживания людей после потопа, они не высосаны из пальца: сначала нужно заботиться о живых, и только когда живые в безопасности, можно скорбеть о мертвых. Тратить силы на мертвых… Но кому, как не медэксперту ОБЖ, знать, что мертвым не все равно…

Олаф снова вздохнул и направился по склону вниз, в сторону берега. Двести шагов.

Он мог бы и не заметить тела, если бы не знал о нем, – цвет рубашки и кальсон сливался с белесым мхом и серыми камнями.

Мертвый паренек лежал на боку: руки согнуты в локтях, сжатые кулаки на груди, голова опущена, ноги до предела согнуты и в тазобедренном, и в коленном суставах. Головой по направлению к лагерю. Олаф подошел вплотную. На лбу и веках – царапины, на левой скуле ссадина… два с половиной на полтора… Ободраны костяшки правого кулака, отморожены концевые фаланги двух пальцев… Это игры подсознания: Олаф видел тело на склоне, и, хотя было темно, вполне мог разглядеть повреждения – по профессиональной привычке. А ночью у печки это неосознанное воспоминание явилось ему кошмаром. Только и всего.

Судить о времени смерти по окоченению трудно: холодно, температура колеблется около нуля; сильный, здоровый парень, физическая нагрузка перед смертью – окоченение может держаться несколько суток.

Олаф глянул на свой правый кулак, разбитый ночью о скалу, – конечно, удар получился не очень, но повреждения кожи были глубже и заметней, практически без кровоподтека. Потому что к кистям рук кровь тогда почти не поступала. Так что вряд ли парень сознательно бил кулаком по камню – скорей, это были непроизвольные движения. И точно после того, как начался отток крови с периферии. Ссадина на скуле не имела корочек, под ней не осталось синяка – получена незадолго до смерти.

Рано делать выводы, но это скорей всего холодовая смерть. Олаф сталкивался с ней довольно часто и имел право строить достоверный прогноз. Почему ночью ему в голову пришла мысль о драке? Высадка на острове – не время мериться силой и выяснять отношения. Хотя… в двадцать лет гормон играет и молодая кровь кипит. Олаф попытался вспомнить себя в двадцать лет, на острове, где они били тюленя. Повздорить – да, случалось, но разодраться? Это в десять лет событие заурядное – в двадцать нужно иметь вескую причину, принципиальную.

Олаф поставил вешки, обозначившие положение трупа, поднял окоченевшее тело и перекинул через плечо. Двести шагов, можно не делать волокушу.

Шагнул вперед и вверх, пошатнулся – тяжелая была ноша.

Нет, не в двадцать – в девятнадцать было, после первого курса. Не совсем драка – тогда он называл это поединком. Из-за Ауне. Глупо и напоказ.

Олаф возил ее в Маточкин Шар, на праздник Лета. Лето… Какое это было волшебное, сказочное лето… От озера Рог пахло тиной и рыбьей чешуей, от земли – травой и картофельной ботвой. Летние звуки и запахи, такие привычные, такие знакомые; до блеска отшлифованные тяпкой ладони, мошкара, даже жжение на сгоревших плечах – после года на Большом Рассветном возвращение в Сампу казалось наваждением, еще не осознавалось как счастье, но несомненно им было. И Ауне… Ей тогда едва исполнилось пятнадцать, она была влюблена в Олафа всю жизнь, все знали, но разве раньше его это волновало? Он только беззастенчиво этим пользовался.

Он помнил то лето с самого первого дня возвращения на Озерный…

Картошку окучивали всей разновозрастной компанией, которой дружили с детства, которой каждый день ходили в школу. Они знали друг друга не хуже родных братьев и сестер. К полудню от теплой земли поднималась легкая дрожащая зыбь, девчонки разделись до купальников. Ауне выбирала корешки, не садилась на корточки, а просто нагибалась, и когда Олаф видел ее сзади, его окатывало жаром, смущением от собственных недостойных мыслей, но глаз он оторвать не мог. У нее были очень красивые ноги, длинные и прямые.

– Оле, надень рубашку, – как-то сказала она, случайно поравнявшись с ним.

– Зачем? – не понял Олаф. И даже хотел ответить, чтобы она надела юбку, но вовремя удержался.

– Ну накинь хотя бы на плечи, а то совсем сгоришь.

Он еще не чувствовал, как жжет спину, – это всегда заметно потом, особенно к вечеру. Жесткое гиперборейское солнце, дырявый озоновый слой…

Вечером он не нашел ничего лучшего, чем прыгнуть с Синего утеса. Хотелось сделать что-нибудь такое, отчаянное… Детям запрещали подходить к утесу, они

даже не подначивали друг друга никогда: утес – это для взрослых, детям тарзанка, не низкая вовсе, метров на пять над водой взлетала, если хорошо оттолкнуться… Но Олаф-то был уже взрослым!

Утес поднимался над озером гораздо выше, и, конечно, в первый раз прыгать полагалось солдатиком, но это Олаф посчитал для себя унизительным. Все мужчины в Сампе рано или поздно ныряли с утеса, это было что-то вроде посвящения – событие в некоторой степени торжественное, случавшееся под праздник, когда купалась вся община. Нырнуть с утеса на глазах у малолеток солидным не считалось, более того – остальные могли и обидеться. А как же советы, подначки, смешки? Наверное, этого Олаф хотел меньше всего.

Он ничего не сказал ребятам, ушел незаметно. И, поднявшись на утес, долго ждал, когда кто-нибудь посмотрит в его сторону. А когда они замерли с открытыми ртами, примерился небрежно и прыгнул. Красиво нырять умели все, но высота… Олаф и не представлял, что такое высота…

Нет, он не плюхнулся в озеро животом (тогда бы точно убился), но что-то пошло не так, от удара о воду вывернуло руку, оглушило, хлестнуло по лицу с одной стороны и сразу – по ногам. Тело под водой закрутило веретеном, Олаф едва не захлебнулся, потом не мог сообразить, куда плыть, где верх, а где низ…

Вынырнул, конечно. Доплыл до берега. Щека горела так, будто с нее содрали кожу. На ноги было не наступить, руку ломило чуть не до слез. Покрасовался, нечего сказать… Но ребятам понравилось – они бежали к нему с воем и восторженными криками, хлопали по плечам, поздравляли… И Ауне смотрела с испугом и радостью, качала головой. Она первая заметила, что у него не двигается рука. Вывиха не было, просто подвернулась в локте – за руку дернули тут же, чтобы не дать Матти повода для насмешек. Олафу едва хватило сил не крикнуть, а на глаза выкатились две тяжелые слезы и предательски поползли по щекам. Он смахнул их, будто бы вытирая мокрое лицо, и надеялся, что Ауне этого не увидела.

Наутро половина лица заплыла ярким красно-черным синяком, обе ноги тоже посинели от пальцев до колен – мама даже вскрикнула, когда Олаф вышел к завтраку. Отец покачал головой и недовольно сложил губы.

Матти заглянул в гости, смерил Олафа взглядом и спросил:

– Взрослым решил стать?

Олаф пожал плечами, стараясь не опускать глаза. Имел право!

– Вот потому оно и детство.

– Почему? – с вызовом спросил Олаф. Ну или постарался, чтобы это прозвучало как вызов.

– Взрослый ценит свою жизнь. Взрослый понимает, когда стоит рисковать своей шеей, а когда не стоит. И отличает позор от безобидных насмешек. Он бы прыгнул солдатиком.

Олафу пришлось это проглотить. Матти часто говорил, что стержня у Олафа нет – только панцирь, хитиновый покров, как у краба, а под ним мягонькое брюшко…

Вообще-то он приходил взглянуть на оценки Олафа, и это тоже было неприятно – отчитываться перед ним. Олаф хорошо закончил первый курс по университетским меркам, с одной тройкой (совершенно несправедливой, впрочем). И когда готовился к экзаменам, думал именно о том, что придется отчитываться перед Матти, не хотел дать ему повода для колкостей и презрительных замечаний. Уже потом, заканчивая университет, Олаф понял, что без них, без этого странного противостояния, без желания что-то Матти доказать, он бы учился совсем не так, без азарта. Тогда, в девятнадцать лет, ему казалось, что Матти относится к нему предвзято, не любит лично его – ведь того же Богдана, который учился в Маточкином Шаре на судового механика, он никогда не поддевал так едко, наоборот хвалил, хлопал по плечу, хотя Богдан еле-еле вытянул второй год обучения.

Это Олаф тоже понял потом – он мог бы гордиться таким отношением к нему со стороны Матти, Матти считал его сильным и способным на большее, а Богдана ничего не стоило сломать, без поддержки он бы не добился успеха.

Отец научил Олафа жалеть людей, а Матти – не жалеть самого себя.

Олаф сильно переменился с тех пор, стал замкнутым и скучным, а дома и раздражительным. Словно работа высасывала из него кровь. Он не уставал

физически, даже наоборот, все время чувствовал недостаток движения: бегал по утрам, в выходные играл в футбол и всегда соглашался отправиться в спасательную экспедицию, если предлагали выбор, из-за чего Ауне обычно на него сердилась.

Если капитан успел передать сигнал бедствия, ей сообщат об этом… Олаф снова покачнулся, неудачно наступив на камень, и скрипнул зубами. Ауне никогда не питает напрасных надежд, она двадцать раз переживет его смерть еще до того, как о ней станет известно. Она потому и сердилась из-за экспедиций – каждый раз заранее переживала его смерть.

Орка примолкла, Олаф не сразу это заметил. А может, пела теперь на высоких частотах – человек не слышит и четверти звуков, которые издают косатки. Есть гипотеза, что видения, которые являются людям на необитаемых островах, посылают киты. Впрочем, Олаф знал еще с десяток не менее сказочных гипотез…

Он положил тело на землю неподалеку от ветряка и не сразу понял, что его смущает. Специфика его профессии, с одной стороны, предполагала некоторую степень цинизма, но с другой… Уважение к мертвым, к смерти присуще всем культурам и цивилизациям, во всяком случае Олаф не мог припомнить другого. Даже воинствующий атеизм имел свои погребальные обряды. Страх перед смертью заставляет ее уважать. Аутопсия не может обходиться без цинизма, он – защита, бравада, брошенный смерти вызов, лекарство от страха. Наверное, не каждый, кому доводится иметь дело с мертвыми, понимает, но почти все подсознательно чувствуют: смерть принимает этот вызов. А потому, беспардонно (бесстрашно) вторгаясь в табуированную еще на заре времен область, смерть все равно нужно уважать. И уважать – вовсе не значит бояться.

Олаф подумал немного и, достав из времянки спальник, накрыл им мертвеца. Правильней было бы отрезать кусок уроспорового полотна от тента, однако Олаф почему-то выбрал спальник. Вряд ли парень под ним согреется, но…

Солнце повисло над скалами, до темноты – уже не до заката – оставалось совсем немного времени, и, оценив запас дров, Олаф решил начать с камней.

Только через час, сидя в своем шатре у печки, в ожидании, когда же сварится крупа, он подумал, что просто не хочет спускаться в сторону березового леса и

находит для этого множество веских причин. Это ему не понравилось: Олаф не любил обманывать самого себя.

Теперь шатер освещала переноска, а во времянке было довольно света от наружных прожекторов, но Олаф все равно нашел лампочку взамен разбитой под потолком. Поставил на место опрокинутый разборный столик и две складные табуретки к нему. В шатре было гораздо теплее, и он поймал себя на том, что панически боится замерзнуть… Нет, не умереть от холода – просто озябнуть.

Позавтракав и пообедав одновременно, Олаф наконец-то взялся за документы, которые нашел еще накануне.

Да, семь студентов и инструктор. Механический факультет. На дне не очень толстой папки лежали медицинские справки и личные листки с фотографиями. Лори (Маяк), 20 лет. Эйрик (Инджеборг), 22 года. Саша (Бруэдер), 19 лет… Олаф запнулся на следующем личном листке: Сигни (Бруэдер), 20 лет. Девушка? С ними была девушка? В его времена на северные острова ездили только ребята. Когда же это ОБЖ разрешил девушкам принимать участие в таких приключениях? Олаф посмотрел следующий листок: Лиза (Парусная), 20 лет. Две девушки…

Если они живы, надо немедленно, сейчас же их найти! Девушки не должны умирать, это… это что-то невозможное, что не умещается в голове. Олаф даже поднялся, даже потянулся за курткой, и только вспомнив, что сперва надо снять телогрейку, осекся. Можно хоть всю ночь бегать по острову с фонариком – ничего не изменится. Разве что совесть успокоится.

Он бы никогда не взял Ауне с собой. В любую из экспедиций. И не потому что она могла погибнуть – о таком он и помыслить не смел, – а потому что она могла застудиться. В обществе, где выживает двое детей из шести рожденных, женщин нельзя не беречь, женщины и дети – главное достояние новой цивилизации. Критерий выживания индивида – способность самостоятельно дышать воздухом, критерий выживания общества – закрепленный генетически инстинкт защищать и беречь тех, кто слабей. Может быть, в этом постулате и было что-то ненаучное, может, его и возводили в культ, но Олаф чувствовал в себе этот инстинкт.

По инструкции отдела БЖ в экспедицию могли взять женщину старше сорока и только если младшему ее ребенку исполнилось шестнадцать. Почему, почему девушкам разрешили ехать на этот чертов остров? Чем они там думали? Ну да, Олаф слышал о брожении в студенческой среде – и о правах человека, и о правах женщин. Щенки. Просто живут слишком хорошо, потому и рассуждают о каких-то правах. Родители Олафа помнили те времена, когда дома? освещала вонючая ворвань… Но как отдел БЖ мог пойти у студентов на поводу? Или жизнь на острове зимой уже не угрожает здоровью девушки? Когда Олаф ездил бить тюленя, они жили в палатках, а не во времянках, пемзовых плит под них не подкладывали и ветряков в лагере не ставили.

Он просмотрел листки до конца – больше девушек не было. Холдор (Металлический завод), 21 год. Гуннар (Песчаный), 22 года. И инструктор – Антон (Коло), 35 лет. Олаф попытался вспомнить, не встречался ли он с инструктором раньше, в общине Коло у него было много приятелей, да и лицо на фотографии показалось смутно знакомым. Может, и встречался. Почти ровесники, наверняка учились одновременно. Общежития механиков и медиков когда-то стояли рядом, и они традиционно соперничали друг с другом: механики презирали медиков, медики – механиков.

Вычислить по фотографии, кто же из студентов лежит сейчас под ветряком, было непросто. В медицинских справках указывались антропометрические данные, и Олаф отложил три личных листка с подходящим ростом и весом (цвет волос по фотографиям не определялся), а потом долго всматривался в лица. Смерть искажает черты лица, иногда до неузнаваемости, так же как и маленькое фото… Точно измерить рост окоченевшего тела почти невозможно, но Олаф редко ошибался больше чем на два сантиметра.

Эйрик. Это был Эйрик. У Холдора густые широкие брови, у Саши – тонкие губы и близко посаженные глаза, волосы темней. Лори выше и тоньше в кости, Гуннар – ниже и тяжелей.

В папке нашлись чистые листы бумаги, и довольно много, а также авторучка и карандаш. Олаф, не досмотрев до конца все имеющиеся документы, включая журнал экспедиции, начал составлять что-то вроде протокола осмотра места происшествия, но по ходу дела понял, что при осмотре тела был озабочен своими ночными кошмарами, а не объективной информацией.

Он отложил авторучку и думал недолго – пока расстегивал безрукавку.

Прожектора он установил неудачно, они освещали площадку с одной стороны, создавая глубокие черные тени, – работать в таких условиях невозможно. Пришлось немного опустить верхний, разбитый прожектор, а второй закрепить на растяжке мачты – не очень крепко получилось, учитывая усилившийся ветер.

Соорудить секционный стол на острове – задача непростая, но кое-какой опыт Олаф имел, выезжать в такие места приходилось часто. Пожертвовал на него стойки для тента и кусок уроспорового полотнища – сколотить две крестовины, жестко соединить в торцах и натянуть на торцы полотно. Нашлась и сапожная игла, и вощеные нитки; молотка не было, зато топоров – три штуки. Эдакий складной стол получился, и чем сильней давить на торцы, тем сильней натягивается «столешница». Олаф попробовал на нее сесть, конструкция сложилась – он прибил к крестовинам распорки.

Тенту тоже нашлось применение, его Олаф шатром закрепил на мачте и ее растяжках – вышла просторная палатка, освещенная и хорошо защищавшая от ветра. Усилил основание и укрепил растяжки – парусность у ветряка теперь будьте-нате, того и гляди взлетит… Нет, глупо это было – устроить лагерь на возвышении, а впрочем… Олаф подумал вдруг, что поставь они времянку дальше от берега, на защищенном от северного ветра склоне, и его бы уже не было в живых.

Смешно жалеть чемоданчик с инструментом, ушедший на дно вместе с катером, хоть и собирал его Олаф любовно и много лет, – не самая большая потеря по сравнению с людьми. Ладно инструмент – всегда можно воспользоваться тем, что под рукой. А вот перчатки… Конечно, тело еще не гниет, но все равно есть риск. Поначалу он относился к этому легкомысленно, но однажды, уколовшись, три месяца лечил флегмону… После вчерашнего все руки ободраны. И запах остается даже в перчатках, а уж без них…

Нет, вязаные перчатки еще хуже. Разве что, совершенно случайно, есть рабочие, таллофитовые, а не шерстяные. Не сильно помогут, но все же…

В аптечке, на его счастье, нашелся не только йод, но и жидкий пластырь – обработать ссадины и царапины на ладонях – и детский крем, чтобы смазать руки.

Олаф собрал кое-какой «инструмент» – жалкое подобие нормального инструмента; в самом деле наткнулся на таллофитовые перчатки – в посуде, как ни странно, и сразу несколько пар; подумав, снял куртку и надел телогрейку – удобней двигаться, а под тентом ветра почти нет. Нарукавники он не любил, но все же испортил пару носков и натянул их поверх рукавов свитера.

Когда он выбрался из времянки, над океаном снова плыла печальная песня кита. Ветер свистел на одной высокой ноте, низко хлопала погнутая лопасть ветряка, гудел генератор, ритмично гремел прибой – что говорить, музыка была атмосферная, во всех смыслах… Из-под отброшенной полы тента на времянку и площадку возле нее падал ровный треугольник яркого света, а за его пределами собралась кромешная темнота. До бочки с водой свет не дотягивался, выходить на территорию темноты – хоть и на несколько шагов – было неприятно. И конечно, лучше бы иметь оба ведра – одно для воды, другое под сток, – но пришлось довольствоваться одним, а под сток приспособить кастрюлю.

Олаф зашел под тент и сдернул откинутую полу – будто хлопнул дверью. Не тут-то было – ветер рванул ее в сторону и вверх, и… Нет, только показалось: на краю пятна света мелькнула какая-то тень. Ветер. Понятно, что это всего лишь ветер. Олаф дернул полу обратно, привязал ее угол к растяжке у самой земли и сверху придавил камнем.

Нет, однозначно, в телогрейке было удобней, чем в куртке… Он нагнулся и снял спальник с мертвого тела. Согнутые руки изменили положение, опустились, расслабились, подбородок уже не прижимался к груди. Только ноги выпрямились не до конца. Вообще-то температура воздуха не располагала, но, похоже, исчезало трупное окоченение. Согрелся, что ли, под спальником? Олаф усмехнулся.

Взгромоздить тело на стол было тяжелей, чем двести шагов пронести на плече. Молодой, здоровый, сильный парень…

– Ну что, Эйрик? – Олаф с трудом разогнулся: потянул, должно быть, спину, поднимая тяжелое тело на вытянутых руках. – Начнем.

Голова не покрыта. Одежда влажная на ощупь. Плотная шерстяная рубашка грязно-песочного цвета заправлена в брюки. Расстегнуты три верхние пуговицы. Воротник поднят. На манжетах пуговицы застегнуты. В нагрудном кармане

огрызок карандаша. Под рубашкой – теплая с начесом нательная рубаха, под ней трикотажная таллофитовая майка-безрукавка. (Маловато для такой погоды.) Амулет гиперборея на прочной нитке. Утепленные кальсоны (комплект с рубахой), тонкие кальсоны (комплект с майкой), черные трикотажные трусы. На правой ноге протертый на подошве трикотажный носок, вязаный шерстяной носок, под ними – еще один трикотажный носок. На левой ноге – один вязаный носок, валяная стелька, трикотажный носок. Шерстяные носки составляют пару, трикотажные (все три) – разных цветов и размеров. Носки и стелька влажные – промокли? Мацерация стоп отсутствовала, значит с мокрыми ногами парень ходил недолго или не ходил вообще. Одежду, скорей всего, промочил вчерашний дождь со снегом…

Сбоку, за тонкой полотняной стенкой, камень тихо стукнул о камень. Будто кто-то неловко на него наступил. Звук был отчетливым, перекрыл свист ветра и гул ветряка.

Олаф еще раз пощупал снятые вещи и даже приложил к телу, чтобы не ошибиться, – вчерашний дождь не мог намочить тот бок, на котором парень лежал. С одной стороны, вода могла подтечь под тело, с другой – он мог промокнуть и до смерти. Неизвестно, какая погода была на острове в последние четверо суток, не исключено, что вчерашний дождь был не первым и не последним. Судя по тому, что тело не промерзло, температура вряд ли опускалась ниже двух-трех градусов мороза. Но если бы парень промочил ноги хотя бы за час до смерти, на стопах присутствовала бы мацерация. Или нет? Посоветоваться было не с кем.

Мелкие царапины на лбу, ссажен кончик носа и наружный край левой надбровной дуги. Ссадины: на левой скуле значительная и мелкие на левой щеке. На правой руке ободраны костяшки кулака. «Гусиная кожа» в области предплечий, передней и боковой поверхностях бедер.

Снова за тентом раздался стук камней друг о друга, повторился дважды, приближаясь, – будто кто-то сделал три шага. К тенту. Ветер слегка оттягивал стенку наружу – с северной стороны тент надувался парусом, иногда опадал и хлопал, а с южной движение было гораздо спокойней. Оттого именно южная стенка казалась почему-то уязвимой, тонкой. А может, потому, что Олаф стоял к ней ближе?

Осаднение ладоней, характерное для падения лицом вперед. Аналогично – на локтях и коленях. Получены в состоянии гипотермии, без кровоизлияния в подлежащие ткани. Точно такие же остались на коленях и локтях у Олафа. Шел вверх? По всей видимости да, иначе падал бы не вперед, а назад. Да и повреждения при падении вперед на спуске были бы серьезней. Ни на затылке, ни на копчике повреждений не имелось.

Правая нога сбита сильней левой (стелька?), отморожение большого пальца правой ноги значительней, чем на левой (точно стелька). Кожа мошонки морщинистая, яички у входа в паховые каналы, головка полового члена розовато-красная – признаки прижизненного переохлаждения.

Кто-то в шаге от южной стенки тента переступил с ноги на ногу – в двух шагах от Олафа. А потом оттянутое наружу полотно прогнулось немного внутрь – будто на него нажали рукой снаружи. И показалось, что ткань облегает ладонь. Олаф решил, что больше не станет оборачиваться в ту сторону, и перешел в изголовье секционного стола.

– Не бойся, это не больно.

Он ловил иногда еле заметный трепет мертвецов, когда брался за секционный нож. Впрочем, это мог быть и его собственный трепет… Олаф провел разрез уверенно, без отрыва – через темя от уха до уха , – отпарировал мягкие ткани от кости и обеими руками стянул кожу с макушки и лба на лицо.

– Не переживай, потом сделаю, как было.

В привычной жизни на Большом Рассветном Олаф был нелюдим и неразговорчив, но, оставаясь в секционной наедине с мертвыми, частенько с ними заговаривал. В госпитале любили над этим пошутить – Олаф-де находит общий язык только с покойниками. Здесь, в одиночестве, собственный голос звучал неуверенно, неестественно, пугающе. Только безумец будет говорить с мертвецом…

Он стянул с головы и задний лоскут кожи, отпарировал височные мышцы. Делать простой циркулярный распил – на лбу останется борозда, оставить лобную кость целой – попробуй ножовкой по дереву сделать распил с углом, а потом без нормального инструмента не повредить мозг.

Молодой парень. Вряд ли его родители вразумительно объяснят, почему им не все равно, как он выглядит в гробу. Они бы предпочли его в гробу не видеть вообще. Но это важно – каким они увидят его в последний раз. И следы вскрытия обычно причиняют родственникам лишнюю боль. Олаф считал, что не переломится, если сделает сложней, но лучше.

Под ножовкой не ощущалась глубина распила и податливость кости.

Холодовая смерть – диагноз исключения. Это значит, надо проверить все, и проверить тщательно. Микроскопа нет, гистологии не будет. Признаки гипотермии вовсе не означают смерть от гипотермии. Олаф вскрывал однажды мужчину, подавившегося костью, и нашел в желудке пятна Вишневского, которые считают чуть ли не бесспорным признаком холодовой смерти. А выяснилось, что за три дня до случившегося покойный упал с волнореза и долго не мог выбраться на берег из-за волны, жив остался чудом. После этого его товарищи говорили, что он будет жить сто лет, и ошиблись. Олаф старался не дразнить смерть подобными утверждениями. Профессиональная деформация: он чаще видел те поединки со смертью, которые заканчивались победой смерти. И не понимал, как можно победить с безусловной верой в победу; для него самого настоящая борьба начиналась там, где исчезала надежда, где не было сомнений в том, что это последний – смертельный – поединок.

Впрочем, смерти все равно, во что ты веришь и на что надеешься.

Отек мягких оболочек мозга – лишь один из признаков, характерных для холодовой смерти. Сам по себе он ничего не доказывает. И ни к чему уверенность, что другого диагноза не будет, – тогда его точно не будет.

Олаф сделал разрезы по задне-боковым склонам шеи, чтобы не оставлять шва спереди – опять же, не переломился. Раскрыл брюшную полость (осмотр ничего нового к диагнозу не добавил), снял с ребер мягкие ткани, отделил кожный лоскут с ключиц и шеи. Туго пришлось с рассечением реберных хрящей, особенно слева – то ли нож подвел, то ли в руках не хватило уверенности.

Как-то раз они с Ауне по осени приехали к родителям в Сампу, отец по такому случаю зарезал поросенка – он каждое лето откармливал двух поросят, для Олафа и его брата Вика, чтобы внуки зимой ели домашнюю тушенку. И правильным было помочь отцу разделать тушу, но Олаф не смог – и удивился

самому себе изрядно. Мясницкий инструмент мало походил на секционный, процесс разделки туши нисколько не напоминал аутопсию, но барьер оказался непреодолимым.

Отек легких – тоже не редкость при холодовой смерти, как и бронхоспазм. Свертки крови в сердце, неравномерное наполнение миокарда, спазм артерий и артериол… Все одно к одному. Ну да, и очаговый некроз эпителия слизистой желудка с кровоизлияниями – пятна Вишневского. Желудок пуст, как и положено при гипотермии.

В походных условиях всегда есть проблемы с содержимым кишечника, и может быть, не стоило возиться – вряд ли это добавило бы что-то к диагнозу. Но следователь захотел бы узнать, сколько времени прошло с последнего приема пищи. Хотя бы приблизительно. И… да, это было важно.

Без учета изменения метаболизма при переохлаждении, Эйрик ел за восемь-девять часов до смерти. По всей видимости, еще на катере, – малиновый компот на острове варить бы не стали. Впрочем, это могли быть и пирожки с вареньем, сказать трудно. Так обычно поступают во всех зимних экспедициях: ранний завтрак на судне, высадка, установка лагеря и только потом обед. Когда они прибыли на остров, световой день продолжался около четырех часов, никто не станет тратить светлое время на второй завтрак, даже если есть сухой паек. В таком случае, он умер подозрительно быстро. Ну, не больше двух часов прошло от завтрака до рассвета. Четыре часа – светлое время. Здоровому парню, чтобы умереть от холода при температуре, близкой к нулю, надо не меньше шести-восьми часов. Это если на ветру. А можно продержаться и гораздо дольше, если шевелиться.

И он шевелился, по всей видимости. Труп не проморожен, содержание мочи в мочевом пузыре – меньше стакана. Не факт, но очень вероятно, что Эйрик продолжал активно двигаться до самой потери сознания.

Олаф сделал все более чем тщательно, но потому он и не любил диагнозы исключения, что совесть после них не успокаивалась, все время казалось: что-нибудь да упустил. Однако в этом случае, по совокупности признаков, можно было смело делать заключение: между холодовой травмой и наступлением смерти есть прямая причинная связь. Никто бы не придрался к этому выводу.

Укладывая на место извлеченные органы, Олаф еще подумывал, что можно было вскрыть и позвоночник, но, во-первых, не верилось ему, что это что-нибудь изменит, а во-вторых, не ножовкой же по дереву вкупе с заточенной отверткой… Олаф никогда не испытывал особенного отвращения к запахам секционной, однако в отсутствии водопровода в замкнутом пространстве захотелось глотнуть свежего воздуха.

Нет признаков насильственного воздействия. Тело не перемещали после образования трупных пятен, а если перемещали – положили в ту же позу, в которой они формировались. Впрочем, следов волочения ни на теле, ни на одежде не наблюдалось. Только расстегнутые пуговицы на рубашке смущали. Это чушь, что замерзающие раздеваются перед смертью. Не раздеваются. Не жар они чувствуют, а тепло – когда критическая точка пройдена и организм потерял способность к терморегуляции. Ну, разве что ослабить давление воротника на горло, если не хватает воздуха.

И все равно лицо сильно меняется после вскрытия, как ни старайся спрятать следы. В юности, на похоронах бабушки, Олаф не узнал ее в гробу, и это поразило его тогда, напугало. Будто в смерти бабушка перестала быть собой. Если бы он знал, целуя ее холодный лоб, что с этим лбом делал танатолог…

– Зачем же ты расстегнул пуговицы, Эйрик? – Олаф завязал узел на вощеной нити, перерезал ее ножом и посмотрел в лицо мертвеца.

Парень не ответил. Наверное, спрашивать его, как он оказался полуодетым на северном склоне, тоже было бессмысленно.

Это «шепот океана». Внезапный приступ паники, непреодолимого страха. Конечно, явление, исследованное не до конца, но имеющее вполне правдоподобное научное объяснение: инфразвук на частоте четыре-шесть герц, который порождают далекие шторма. Или не шторма – в океане могут быть и другие источники инфразвука. И если зафиксировать «шепот океана» пока не удалось, то воздействие инфразвука на мозг человека – явление неоспоримое, подтвержденное экспериментом. Далеко не всегда такая паника заканчивалась смертью людей, особенно летом, – очевидцев, которые попали под воздействие «шепота», хватало, и все они описывали свои ощущения так, будто это был инфразвук.

Версия хорошо объясняла, почему ребята покинули лагерь, не взяв с собой теплых вещей. И то, что они уходили из времянки через пожарный выход. Олаф на себе действия инфразвука не испытывал и не мог припомнить, имеет ли значение его направление. Если имеет, то он пришел с севера и заставил бежать на юг. И если бы они поставили времянку на склоне, этого не произошло бы. И не было бы спасательного катера, не было бы рифа, и Олафу не пришлось бы искать лагерь на острове. Зачем они поставили времянку на возвышении?

Версия не объясняла разных носков на мертвеце. И единственной стельки на левой ноге – тоже. Сидя в теплой времянке, никто не станет поддевать стельку под один носок. Подденут или обе стельки, или ни одной. Если ребята только что сошли с катера, вряд ли они успели постирать и перепутать между собой носки, хотя… Кто же знает этого Эйрика и его привычки складывать одежду?

Орка запела как-то особенно громко, надрывно. Будто хотела что-то сказать. Иногда они предупреждали о Больших волнах, но метеослужба делала это точней.

Олаф уложил Эйрика обратно к опоре ветряка, свернул одежду валиком и накрыл тело спальным мешком. Принялся развязывать веревочку, которой прикрепил полу тента к растяжке, – она затянулась узлом и не поддавалась. Он не спешил.

Оказавшись на склоне, направленном к югу, спустившись всего на два метра по вертикали, они выпадали из зоны воздействия инфразвука. Или не выпадали? Олаф плохо знал физику. Ах, как механики когда-то смеялись над курсом физики для медиков! Так же как медики смеялись над их курсом химии. Вряд ли механик, лежащий под спальником, расскажет о свойствах звуковых волн…

Хорошо, даже если не два метра, пусть не два – десять метров. Но они выпадали из-под действия инфразвука почти сразу, через пять-семь минут после того, как покинули лагерь. Пусть будет не пять минут, а полчаса, это самое большее. И паника прекращается. И они понимают, что стоят на холоде в подштанниках. Есть ветряк, горит прожектор, они интенсивно двигались – что мешает им вернуться? Одеться, растопить печь? Это в воде холод убивает за полчаса – верней, еще не убивает, а вызывает потерю сознания. Только сильный мороз в сочетании с ветром приведет к тому же результату на воздухе. Или… дождь? Но в мороз дождей не бывает. На южном склоне ветер не так силен, как на северном. Мацерация стоп отсутствует, скорей всего ноги были сухими.

Эйрик шел к лагерю с северного склона. Но из времянки они выбрались в направлении юга. Впрочем, не факт, что они и дальше двигались на юг…

Узелок наконец развязался, ветер рванул полотнище из рук, сердце оборвалось – что он там увидит? И стоит ли на это смотреть?

Тени метнулись в стороны, затрепетали по краям освещенного треугольника. Олаф поймал угол бьющегося полотнища, осмотрелся и прислушался, переводя замершее вдруг дыхание. Теперь нужно ложиться спать, чтобы проснуться до рассвета и позавтракать. Но сначала свернуть тент на одну растяжку, чтобы его не снесло ветром (чтобы не узкий треугольник света ложился на землю, а широкий круг).

Орка надрывалась, и не печальной была ее песня, а тревожной и требовательной.

– Ну чего ты хочешь от меня, чего? – тихо спросил Олаф, повернувшись к океану. Собственный голос, утонувший в звоне ветра и шорохе ветряка, почему-то напугал. Будто тени со всех сторон повернулись в его сторону, на голос. Будто сразу несколько взглядов уперлось в спину. С южной стороны.

Олаф тряхнул головой и продолжил сворачивать полотнище. Не хотелось надевать куртку на несколько минут, но за эти несколько минут он изрядно продрог. До озноба. Или… взгляды из темноты напугали его до дрожи?

Это от одиночества. Человек не может один. Не должен.

* * *

– Это даже не двойка, это единица, Олаф, – сказала учительница литературы.

– Почему? – с вызовом спросил тот.

– Потому что надо было прочитать произведение, а не послушать по дороге в школу пересказ Иды.

Олаф думал соврать, что читал, но не стал унижаться.

– А если оно мне не нравится?

– Чтобы решить, нравится произведение или нет, нужно сначала его прочесть.

– А если я не хочу его читать? Если мне неинтересно?

Понятно, что спорить смысла не имело, но чем дольше Олаф препирается, тем меньше шансов получить единицу у остальных. Ну в самом деле, зачем им «Ромео и Джульетта», это не нормальный допотопный английский, а стилизация под устаревший его вариант! Никто из ребят его читать не стал, про любовь – это для девочек.

– Дружочек, иногда надо делать и то, что тебе неинтересно. Нельзя вырасти культурным человеком, не зная Шекспира.

– Может быть, я не хочу вырасти культурным человеком… – проворчал Олаф, понимая, что перегибает палку.

– Хочешь уподобиться дикому варвару? – учительница изогнула губы в снисходительной улыбке. – Довольно, Олаф. Довольно множества «хочу». Если бы люди руководствовались своими «хочу», они бы давно вымерли. Изволь к следующему уроку прочесть пьесу и не надейся отвертеться, я обязательно тебя спрошу.

– Это пьеса для девчонок… – пробормотал Олаф себе под нос.

– Ах вот как! – учительница рассмеялась. – Настоящего мужчину, по-твоему, не должна взволновать история о любви? Нет, милый дружочек, ты ошибаешься. Это настоящий маленький мальчик не способен понять человеческих страстей, а не взрослый мужчина. Литература призвана поднимать человека над самим собой, делать его взрослей. Она дает возможность обрести опыт чувства заранее. Но главное даже не в этом. «Ромео и Джульетта» – пьеса не о любви вовсе, а о победе любви над ненавистью. О том, насколько высока цена этой победы, а значит, насколько ненависть сильна.

Пространные словеса о гении Шекспира избавили остальных от вызова к доске, ради этого можно было смириться с обидным «настоящим маленьким мальчиком». Читать, конечно, сильней не захотелось, но все же пьеса была гораздо короче, чем нудный «Обломов». Считалось, что читать на допотопном русском легче, чем на английском, – гиперборейский язык взял от русского больше, чем от финского и норвежского, – однако тяжеловесная русская классика вызывала у Олафа тоску и пессимизм. Ну почему в школе нельзя изучать «Остров сокровищ» или «Одиссею капитана Блада»? Их и на английском читать легко и интересно.

На острове Озерном, большущем по меркам Новой Земли, кроме Сампы размещалось еще четыре общины; одна из них, Узорная, была крупной: с ткацкой фабрикой, школой, библиотекой, больницей на пятнадцать коек, маяком и высокой пристанью. Фабрика стояла на берегу Чистого озера, а поселок Узорной протянулся от фабрики до берега океана. Сампа же находилась в южной части острова, между океаном и озером Рог, изгибавшимся узким полумесяцем вокруг ржаных, овсяных и картофельных полей. По другую его сторону лежал сухой сосновый бор, ягодники, за ними – мшистое болото с клюквой, а уже за болотом – луга общины Сытной, где держали коровье стадо в восемьсот голов. Ну и на востоке, на озерах, жили рыбоводы, их было совсем немного.

Домой в тот день возвращались без старшеклассников – у них было больше уроков. Это пятиклашкам не разрешали идти в Сампу одним, а Олаф и Ида считались вполне взрослыми, чтобы отвечать за маленьких. Такие дни выпадали не часто, и, признаться, Олаф гордился тем, что он старший и отвечает за остальных.

Вообще-то полагалось двигаться в обход болота, по широкой проезжей тропе вдоль леса, а потом через «большой» мост, у самого впадения Синего ручья в озеро Рог. Но, понятно, никто таких кругов никогда не делал, ходили напрямую по болоту и через ручей перебирались по бревнышку, в узком месте: получалось километров пять, не больше. Можно было и дрезину подождать, тогда до Сампы добирались бы минут двадцать, но дрезина шла из порта в пять часов, торчать в Узорной никто так долго не хотел.

С той осени в школу Узорной пошел и братишка Олафа, Вик, – в Сампе была только младшая школа, один класс на всех, в нем едва набиралось десять человек.

Ночь только начиналась – в полдень небо еще светилось на юге волшебным сине-зеленым светом, но к концу уроков становилось совершенно темно. Зимой, когда выпадал снег, дорога не казалась такой темной, но осенью иногда приходилось идти чуть ли не ощупью. Электрических фонариков в те времена не было (верней, были, но не фонарики, а фонари, и не для баловства, а для работы), и ребята брали с собой «летучую мышь», заряженную сыротопом[1 - Сыротоп (здесь) – ворвань, жидкий жир рыбы и морских животных, вытапливаемый на солнце, без варки.]. Вообще-то она мало что освещала, потому и зажигали ее редко, и не на дорогу вовсе посмотреть. В тот раз «летучую мышь» нес Олаф – как старший.

Ида дразнила его за единицу по литературе до самого болота, и если бы она не была девчонкой, он бы быстро заткнул ей рот. Нет, ударить девчонку, конечно, унизительно, позорно. Но почему они пользуются этим? За единицу по литературе и так влетит, а тут еще она…

– Оле, ну вот зачем ты отвечал, а? Сказал бы, что не знаешь, и получил бы в два раза больше – не единицу, а двойку.

– Дура! Кроме меня в классе никого нет, что ли? – вспылил Олаф. – Я один, что ли, не читал? Я же время оттянул!

– Ох, благородный герой! – рассмеялась Ида. – Ромео и Джульетта поженились и стали жить вместе!

– Сама так рассказала, а теперь ржешь!

Ида расхохоталась еще громче.

– Не поженились. Обвенчались. Я сказала «обвенчались». А чем ты слушал, я не знаю.

– Какая разница: поженились, обвенчались… – проворчал Олаф. – Стали мужем и женой.

– Оле, они не могли жить вместе, в этом же основная суть. Если мы с тобой ночью тайно придем к Планете и скажем, что мы муж и жена, мне мама все

равно не разрешит с тобой жить.

Малявки расхохотались (включая Вика!), кто-то сквозь смех выдавил неразборчивое «жених и невеста»…

– Чего? Вообще с ума свихнутая? Я с тобой жить и не собираюсь! Нужна ты мне! – Олаф не нашел больше слов в свое оправдание, захлебнулся возмущением. Малявки смеяться не перестали, даже развеселились еще больше, и от обиды Олаф ускорил шаг.

– Оле, Оле, погоди! – через минуту взмолился Вик. – Я так быстро не могу!

– Пусть идет, – услышал Олаф надменный голос Иды. – Мы и без него найдем дорогу.

Он шел так быстро, что через несколько минут перестал слышать голоса за спиной. Раза два или три его кто-то звал по имени, но Олаф не остановился и не ответил. Нет, ну надо было такое ляпнуть, а? Мама ей не разрешит… И Вик – ну какой мерзавец, а? Пусть не липнет после этого!

Темнота была кромешной, но этой тропинкой через болото Олаф ходил почти каждый день уже четвертый год подряд и сбиться с пути не боялся. В лесу бывает совсем ничего не видно, можно и на дерево наткнуться, а на открытом пространстве, как бы ни было темно, на фоне неба все равно видны какие-то ориентиры. Да и глаза быстро привыкают. Когда со света сразу в темноту выходишь – хоть глаз коли, а потом ничего.

Потихоньку обида выветрилась из головы, Олаф вспомнил, что он самый старший сегодня, а значит отвечает за остальных. По правде, Ида родилась на три месяца раньше, но девочек в таких случаях никто не считал – мужчина не должен перекладывать ответственность на женщину. И Олаф сообразил вдруг, что сделал именно это: оставил Иду старшей, переложил на нее свою ответственность! В ту минуту ответственность представлялась ему привилегией, а не тяжким бременем, и получалось, что он добровольно отдал Иде право старшинства!

Он подумал и остановился. Самое трудное по дороге – перейти ручей по бревнышку, малявкам надо помогать, особенно девчонкам. В глубине души Олаф

подозревал, что Ида и с этим неплохо справится, – оно-то и было особенно обидно.

Стоять пришлось долго, прежде чем послышались голоса ребят; Олаф подумывал даже неожиданно выскочить на них из темноты с грозным рыком, но решил, что эта шутка ему уже не по возрасту. И просто стоял на тропинке, ждал, когда они подойдут.

– Оле, это ты? – заметив его на пути, спросила Ида.

– Я, я, – Олаф не стал ломаться и хотел уже повернуться и идти дальше, но Ида вдруг снова спросила:

– А где Вик?

– Чего? – не понял Олаф.

– Вик побежал тебя догонять, он тебя что, не догнал?

– Как… побежал догонять?.. – еле-еле выдавил Олаф. В голову стукнула кровь, в лицо бросился жар, а колени стали ватными, едва не подогнулись. Страх, стыд, чувство вины… – Почему? Зачем? Зачем ты его отпустила?

– Он меня не слушал. Ты же старший, а не я, – едко ответила Ида.

И, конечно, она была права. И, конечно, никто кроме Олафа не виноват – но можно было и не ерничать.

Они с полчаса бродили по болоту, звали Вика, но он не откликался. Зажгли «летучую мышь», темнота от этого стала только гуще, но Вик мог заметить огонек издалека – и Олаф задирал вверх руку с фонарем, чтобы его было видно как можно дальше. Малявки устали, у двух девчонок пришлось забрать сумки с учебниками.

Те часы Олаф и теперь вспоминал с содроганием – до сих пор не простил себе той глупости, которую сделал. А тогда… Тогда он был в полном отчаянье, обмирал от ужаса: а если Вик провалился в трясину? Это на тропе нечего

бояться, но мало ли куда братишка мог забрести? Даже если не утонул, а просто промок и сидит сейчас где-нибудь под кустом и замерзает? Картинка, нарисованная воображением, доводила его едва не до слез: младший братишка (которого Олаф всегда недолюбливал, к которому ревновал, надоедливый, липучий зануда!) плачет в полной темноте, зовет его, Олафа, все тише и тише, одинокий, промокший, замерзший! Впрочем, представить Вика тонущим в трясине было еще страшней, но и эту картинку воображение Олафа не обошло стороной… И хотелось куда-нибудь бежать, спешить, спасать, исправить, непременно исправить сделанное – знать бы, куда бежать…

– Оле, надо возвращаться в Сампу, за помощью… – сказала Ида, тронув Олафа за плечо. – Мы сами его не найдем.

Она уже не ерничала, наоборот – жалела его, переживала.

– Возвращайся, если хочешь… – прорычал Олаф, отвернувшись.

– Оле, это я виновата… Я его не задержала, я не подумала, что ты так далеко.

– Не надо! – огрызнулся он. И добавил помягче: – Ты тут ни при чем. Я слышал, как он меня зовет, и не откликнулся. Понимаешь? Если бы я откликнулся, он бы меня догнал!

– Если бы я тебя не дразнила, если бы не сказала эту ерунду… – Ида разревелась вдруг так горько, что больше не могла выговорить ни слова.

Если! Если бы он прочитал эту чертову пьесу, если бы не получил единицу, если бы не обиделся на Иду (и Вика)… Как много «если»…

– Перестань реветь, – проворчал Олаф. Вот потому женщину нельзя назначить старшей: в ответственный момент она разревется – будто слезами можно решить проблему. – Возвращайтесь в Сампу. Ты сможешь перевести малышню через ручей?

Ида закивала, попыталась вытереть слезы, шмыгнула носом.

– А дорогу найдешь?

Она закивала с удвоенной силой.

– Я фонарь себе оставлю, вдруг… – он пожал плечами.

– Может, тебе лучше с нами? – Ида спросила робко, заискивающе.

Он ничего не ответил – не мог он вернуться в Сампу, не мог! Ну как? Как посмотреть маме в глаза, отцу? И потом, когда еще помощь соберется: а если не успеют?

Сколько раз им говорили не ходить через болото! Сколько раз повторяли, что держаться нужно вместе! Сколько раз предлагали делать уроки в школе и ехать домой на дрезине! Не слушали, конечно не слушали! Потому что до поры все было хорошо, ничего не случалось! Как говорил Матти: «Пока не прилетит жареная птица».

Оставшись один, Олаф начал поиски с удвоенной силой – теперь не требовалось присматривать за остальными, сумки у него забрали (включая его собственную), и появилась возможность менять руку, задирая вверх «летучую мышь». Он звал Вика не переставая, иногда ставил фонарь на мох, чтобы сложить ладони рупором, но неизменно поднимал «летучую мышь» повыше, не зная, что расходится дальше – звук или свет.

По его предположениям, помощь должна была появиться не позже чем через час, но сколько прошло времени, Олаф не представлял. А может, забрался так далеко на восток, что не слышал криков и не видел света фонарей? Всерьез заблудиться на острове нельзя, скорее рано, чем поздно выйдешь к океану, но некоторым удавалось, да… В основном, конечно, малышам.

Там, куда поиски привели Олафа, стоял редкий заболоченный лес; иногда он видел в темноте открытую озерную воду, но вплотную подойти к берегу не мог – однажды только напрасно промочил ноги. В лесу, хоть и редком, голос расходился не так далеко, а света «летучей мыши» можно было и в трех шагах не заметить.

Мысли с каждой минутой становились все мрачней, пошел мелкий ледяной ноябрьский дождь, не сразу, но промочил фуфайку и штаны, замерзли руки. Тогда Олаф думал со злостью, что так ему и надо, пусть будет холодно, мокро,

пусть он устанет, простынет и тяжело заболеет, пусть упадет и что-нибудь сломает – может быть, от этого будет хоть немножко легче, может, в этом найдется какое-то оправдание… Лучше всего утонуть где-нибудь на подходе к озеру или провалиться в болотную трясину. И лишь мысль о том, что Вик тоже мокнет и мерзнет сейчас под дождем, не позволяла ему осуществить это глупое пожелание.

Олаф совсем потерял счет времени, руки отваливались – не осталось сил поднимать фонарь, – и он с отчаяньем думал, что если Вик утонул, то искать его придется всю жизнь… Он не представлял, где находится, и если раньше был уверен, что методично прочесывает островок, то теперь просто шатался туда-сюда в темноте. И кричать громко не получалось – он охрип; и, конечно, все равно звал Вика, но от этого до боли першило в горле, а звук выходил сиплым и тихим.

Он ни разу не подумал о том, что Вика давно нашли без него. Видел, как за горизонтом иногда освещается небо: значит, поиски еще не прекратились, значит, пускают сигнальные ракеты. Это не придавало сил, наоборот – только сильней мучила совесть: это его вина, он сам должен найти Вика, сам!

Олаф надеялся услышать ответ на свои крики и представлял, как отыщет братишку где-нибудь под кустом и как они вместе вернутся в Сампу. Он даже разработал план возвращения самым коротким путем… И иногда ревел (никто ведь не видел), когда понимал, что этим планам не суждено сбыться, если Вик утонул.

Заболоченный лес сменился сухим и густым, а вскоре Олаф вышел на опушку. Долго соображал, где находится – на лугах Сытной или на полях Сампы, но так и не понял.

Он издали заметил свет фонарей, а потом услыхал и крики, однако, к удивлению Олафа, люди с фонарями звали не Вика, а его самого. И он откликнулся как мог громко – громко не получилось. И идти в их сторону быстро тоже не получалось, он спотыкался и едва не падал с ног. Постарался поднять «летучую мышь» повыше и чуть не выронил ее совсем.

Но его заметили, осветили большими электрическими фонарями, побежали навстречу… Это были мужчины из Сытной (потому он и решил сначала, что до

Сампы далеко), кто-то выпустил зеленую ракету из ракетницы – отбой тревоги, – ощупывали его, спрашивали о самочувствии, предлагали помочь идти, дали глоток спирта из фляжки и горячего чая из термоса. Было пять часов утра…

Вдали мелькнула еще одна зеленая ракета – отбой тревоги передавали по цепочке. Олаф боялся спросить про Вика, но догадался: если отбой, значит, Вика уже не ищут. Почему? Олаф и в детстве считался пессимистом (но называл себя скептиком).

Его нашли на границе земель Сампы и Сытной, а потому повели домой, в Сампу, – пришлось идти еще минут сорок, и продержался Олаф только из гордости. По дороге ему рассказали, какой переполох он поднял. Вик добрался до дома незадолго до возвращения Иды с ребятами – поплутал немного по болоту, но увидел издали огни Сампы и довольно быстро вышел к Синему ручью. Олафа сначала ждали, потом искали своими силами, потом по рации передали тревогу в Сытную и Узорную. Пускали ракеты – по ним Олаф мог определить правильное направление движения.

Гора должна была свалиться с плеч – и она свалилась, Олаф редко бывал так счастлив, как в ту минуту: Вик жив, с ним все хорошо, он не утонул, не замерз и, наверное, даже не простудился. Конечно, Олаф виноват, но совсем не так виноват. Конечно, так делать нельзя, но… искать Вика всю жизнь точно не придется. И обиды не было, только радость. А вот идти стало гораздо тяжелей, холод дал о себе знать, усталость навалилась – последний километр Олаф прошел еле-еле, шатаясь и спотыкаясь.

В Сампе никто не спал, и в клубе, и перед клубом горел свет, туда потихоньку подтягивались мужчины, которые искали Олафа на болоте, – в блестевших от воды плащах, с тяжелыми электрическими фонарями… Он заметил лицо мамы в освещенном окне клуба – и оно тут же исчезло, упала занавеска: должно быть, мама побежала его встречать. Вообще-то никто не сердился: Олафа раза три хлопнули по плечу, пока он подходил к клубу, и шутили, и улыбались – радовались.

Но первым навстречу Олафу из клуба вышел Матти. Он вовсе не радовался (потом Олаф понял, что радовался, конечно, просто не считал нужным это показать), лицо его было злым и презрительным. Олаф краем глаза увидел отца, тоже в мокром плаще, но без фонаря, с откинутым капюшоном, – тот бежал к клубу и улыбался.

– Скажи мне, каким местом ты думал? – спросил Матти, не повышая голоса. – Какого черта три общины всю ночь ползали по болоту под дождем? Ради чего твоя мать чуть не лишилась рассудка, а?

Наверное, стоило помолчать. Но то чувство вины, которое водило Олафа по болоту всю ночь, не могло сравниться с этим, маленьким, чувством вины – за то, что его искали. За то, что за него волновались. Он ведь не винил Вика в том, что тот потерялся.

– А зачем меня искали? Я бы и сам дорогу нашел, – ответил Олаф, с вызовом глянув Матти в лицо.

Матти его ударил. Не сильно, открытой ладонью по щеке, больше унизительно, чем больно, – но Олаф и без этого еле стоял, а потому не удержался, слетел с ног и плюхнулся в глубокую грязную лужу. Да еще и не сразу смог подняться.

Дальнейшего он от отца не ожидал. Отец считался человеком мирным, даже чересчур, старался избегать конфликтов, в ссорах всегда первым искал примирения и вообще слыл миротворцем. А тут… Он и не сказал ничего, просто подбежал и врезал Матти кулаком в подбородок, а кулак у отца был еще тот, да и силищей он обладал неимоверной – Матти отлетел шагов на пять и навзничь повалился на землю. И тоже не сразу смог встать.

Олаф думал, они подерутся, что Матти этого так не оставит. Он всегда недолюбливал отца, всегда отзывался о нем с презрением, давал едкие советы, как надо растить сыновей… Но Матти поднялся – легко, одним движением, хотя был далеко не молод, – потрогал челюсть, смерил отца взглядом и сказал:

– Пусть так. Будем считать, что и ты, и я поступили по справедливости.

По дороге к дому мама со слезами беспорядочно целовала Олафа в лицо, мяла в кулаке его волосы, прижимала голову к себе. Отец был мрачен, но на Олафа не сердился нисколько – переживал, наверное, из-за Матти.

А дома, когда Олаф наконец-то улегся в теплую постель (Вик даже не проснулся!), отец пришел к ним в спальню, присел на краешек кровати.

– Тебе, конечно, не стоило уходить от ребят, потому что ты был старшим. И, конечно, тебе надо было пойти в Сампу за помощью, вместе со всеми. Потому что глупо действовать в одиночку: даже если ты виноват, в этом нет никакого толку. Ведь смысл был не в том, чтобы успокоить совесть, а в том, чтобы найти Вика, верно?

Олаф кивнул – говорить он совсем не мог, голос сел окончательно.

– Но я все равно тебя понимаю. И… Не знаю, но мне кажется, ты молодец. Может быть, и глупо вышло, но ты поступил как мужчина, как старший. Только в следующий раз… в общем, верь людям, не бойся опираться на людей. Никто ведь не переломился, когда тебя искал. Это нормально, понимаешь? Когда люди все вместе, когда помогают друг другу в беде.

«Не переломился» – это было одно из любимых словечек отца…

– Пап, – прохрипел Олаф, – но зачем? Зачем? Я бы сам вышел, я не терялся!

– Вик тоже не терялся. Но ты же его искал, правда? – усмехнулся отец. – Спи.

Олаф проболел после этого больше двух недель, успел прочитать «Ромео и Джульетту», но нисколько не впечатлился – скучная оказалась пьеса, как и ожидалось. Вик лип к нему еще больше и еще сильней надоедал. Пожалуй, Олаф вынес из этой истории только одно: быть старшим – не привилегия, а ответственность. И как бы он ни ненавидел Матти, как бы ни хотел обвинить его хоть в чем-нибудь, но именно тогда задумался о том, что Матти – всегда старший, всегда ответственный. Наверное, это тяжело – всегда за всех отвечать.

Собранные вокруг печки камни еще не остыли, но Олаф все равно развел огонь – чтобы тепла хватило до утра. И на этот раз собирался закрыть вьюшку, чтобы тепло не вытянуло наружу слишком быстро.

Он сложил тщательно записанный протокол вскрытия в папку и взялся за журнал экспедиции, забравшись под полог из спальников – чтобы было теплее.

Похоже, столь серьезный в понимании ОБЖ документ инструктор отдал на откуп студентам, сделав там только самую первую запись: «Высадились на остров благополучно. До рассвета доставили снаряжение на место стоянки, установили ветрогенератор». Далее журнал «заполнялся» правильным и аккуратным девичьим почерком. Олаф посмотрел в конец записей: точно, «По поручению вышестоящей инстанции – Сигни (Бруэдер)». «Коррективы внес Саша (Бруэдер)» – это было приписано другим, небрежным, почерком на полях. Олаф видел множество подобных журналов, все они из серьезных документов превращались в несерьезные – даже вполне солидные люди на этих страницах упражнялись в остроумии, чего же требовать от студентов?

Впрочем, записи смешными ему не показались.

«Неожиданная смена погоды на закате не напугала колонистов – ни снег, ни ветер не могут соперничать с их силой духа, мощным аккумулятором ВЭГ и водонепроницаемой крышей».

Вот как. Значит, пошел снег и они укрылись во времянке, не закончив обустройство лагеря.

«Правильное питание – залог успешной экспедиции, так считает главный повар (зачеркнуто) главная повариха (вставлено сверху корявым почерком) колонии Гагачьего острова, Лиза (Парусная)». «Решение разбить лагерь на продуваемой всеми ветрами высоте принято вышестоящей инстанцией и не должно учитываться при подсчете суммы баллов, набранной колонистами, – прямо заявил староста колонии Эйрик (Инжеборг). Вышестоящая инстанция ничего на это не ответила».

Какая вышестоящая инстанция? Кто, кроме студентов и инструктора, мог выбрать место для размещения времянки? Или его искали заранее, по картам? По картам такого лучше не делать. До Олафа не сразу дошло, что вышестоящая инстанция – это инструктор.

«Лекцию о борьбе с морской болезнью, запланированную на день выхода катера в море, сегодня прочтет Лори (Маяк). Досадная задержка обусловлена тяжелым приступом морской болезни у лектора». «Обзорную экскурсию по острову совершили сегодня два отчаянных колониста. Результаты: минус 15 баллов в общую сумму зачета, упавшая растяжка и уровень потолка ниже допустимой

ОБЖ нормы. Имена экскурсантов в целях их безопасности не публикуются». «Громкую дискуссию вызвал вопрос о критериях необитаемости островов вообще и Гагачьего в частности. Можно ли считать необитаемым остров, на котором размещено оборудование метеослужб или какие-либо другие следы жизнедеятельности человека?»

Олаф не знал, что тут размещено оборудование метеослужбы. И не мог предположить, какое оборудование метеоточек работает автономно.

Надежда – опасная, как всегда, надежда – вспыхнула, прогнала сонливость. Если на острове есть метеоточка, то ребята могли укрыться там, у метеорологов, и не в надувной времянке, а в крепком отапливаемом домике.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Сыротоп (здесь) – ворвань, жидкий жир рыбы и морских животных, вытапливаемый на солнце, без варки.

Купить: https://tellnovel.com/ru/denisova_ol-ga/mertvaya-zyb

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить